ЛЕВ СЛАВИН

ИЗБРАННОЕ

SHOUT
SHARE
IT

- Лев Славин

Лев Славин
Мой Олеша

Переулок был похож на подзорную трубу – длинный, узкий, а в дальнем конце, как на линзе объектива, сияющий круг моря.

За углом – мореходное училище. Необычная вывеска – якорь, вписанный в спасательный круг, – волшебно преображала этот заурядный дом. В самом названии переулка слышалось что-то стивенсоновское: Карантинный.

Спустя много лет Юрий Олеша уверял меня, что даже свет воздуха был там совсем иной, чем на других улицах.

– То есть цвет?

– Нет, именно свет! – настаивал Олеша своим непреложным голосом.

Когда вышли его «Избранные сочинения», я прочел в очерке об Одессе:

«Здесь совсем особый *свет* воздуха… От стакана воды, принесенного в комнату, становится прохладнее и свежей. А тут – столько воды, море…»

Ришельевская гимназия была в другом конце города. Она называлась так в честь основателя города герцога Ришелье. Памятник ему стоит на Приморском бульваре. Герцог изображен с венком на голове и в античной хламиде. Вид у этого полуголого мужчины, как у многих ложноклассических скульптур, при всей их торжественности, несколько банно-прачечный. В городе он был очень популярен, не герцог – памятник. Его фамильярно называли: «дюк». Дюк по-французски – герцог. Но в Одессе «дюк» означало – хмурый дурак, унылый недотепа. «Молчит, как дюк». «Что ты сидишь, как дюк?»

Трамвай довозил от Карантинного переулка до самой гимназии. Но Юра предпочитал проделывать этот путь пешком. Он шел по Греческой улице. На Строгановском мосту он замедлял шаг. Три параллельных моста висят над шумной портовой улицей. Лестницы каменными спиралями сбегают вниз.

Юре нравилась многоярусность этих мест. Снизу вырастал большой дом. Он побурел от времени и похож на старый форт. Верхний этаж его дотягивается до моста. На дверях висела табличка «Пароходство А. А. Трапани». Туда от моста вел узенький отросток. Юра вступал на него. Он чувствовал под ногами это гулкое пространство, ему мнилось, что он шагает по упругой воздушной сфере, он ощущал себя канатоходцем.

Потом он пересекал Пушкинскую улицу, обсаженную

царственными платанами, чьи листья вырезаны в виде короны. Потом – Греческий базар, набитый рыбными запахами, бильярдистами, трамвайными звонками.

На некоторых тротуарах были плиты, которые Юра считал приносящими счастье и старался ступать по ним. Другие он осторожно обходил. Даже в старших классах он сохранил эту привычку. Спохватываясь, смеялся. Но задумавшись, снова машинально перешагивал через роковые камни.

Директор Дидуненко, высокий господин с черной бородкой и с блестками штатского генерала в петлицах вицмундира, благосклонно отвечал на поклон маленького гимназиста с упрямым и сильным лицом. Украшение гимназии, первый ученик, золотой медалист! Мог ли действительный статский советник Дудиненко предвидеть, что этот сгусток добродетелей за порогом гимназии превращается в бунтовщика, в ниспровергателя мещанского благонравия.

Это была восстание учеников против учителей, детей против отцов, мятеж против удушья обывательского мирка. Это была оборотная сторона золотой медали.

«Блажен, кто, начиная мыслить, охранен наставником… У меня наставника не было».

Такими прекрасными и грустными словами писатель Юрий Олеша вспоминал свое отрочество.

Рвались кто куда, не зная пути. Юра, как и друг его юности Эдуард Багрицкий, сослепу ударился в эстетизм. Но пришла революция, сдунула эту политуру красивости и развернула иной маршрут.

Багрицкий принял его раньше и решительнее. Он всегда тяготел более к простонародным кварталам, к Дальницкой, к Пересыпи, к Сахалинчику, к рыбакам, к грузчикам, к железнодорожникам с их исконными бунтарскими навыками.

Впоследствии, вспоминая о Багрицком, Олеша писал:

«Может быть, Эдуард Багрицкий – наиболее совершенный пример того, как интеллигент приходит своими путями к коммунизму».

В сущности, Олеша писал это и о самом себе, хотя его путь был обрывистее.

Тот же город, но не тот раскрой его. С одной стороны Одессу омывает море, с другой – степь. Степь украинская, море многоязычное. А среди украинских сел были болгарские, немецкие, еврейские, эстонские земледельческие колонии.

В самом городе много чехов – музыкантов и латинистов, много немцев из гимнастического общества Турн-ферейн, из школ «Анненшуле», «Паульшуле», англичан из Индо-Европейского

телеграфа. Из клуба «Огниско» Ольга Владиславовна Олеша приносила польские книги. В оперном театре почти ежегодно играли итальянцы. О, Баттистини! О, Карузо!

И все же Одессу нельзя было назвать космополитической в том дурном смысле этого слова, который был придан ему вскоре после второй мировой войны. Все, «и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений», сплавлялось в мартене великой русской культуры. Украинский язык был под запретом. Царское правительство вставило кляп в рот украинской культуре. Только после революции мы впервые узнали все очарование Тычины и восхитились мощью Хвыльового.

Но, конечно, на Одессе, при всей национальной пестроте ее, лежал явственный украинский отпечаток. В крестьянском хлопце, в капитане дальнего плавания, в университетском профессоре вдруг проглядывал сохранившийся во всей чистоте тип запорожца из казацкой сечевой вольницы – весь этот сплав удали, юмора, силы, поэзии. В «Коллективе поэтов» с нами вместе начинал Владимир Сосюра и Иван Микитенко.

Большая и не очень опрятная квартира, брошенная бежавшими буржуями и ставшая трофеем поэтов. Здесь происходили ежевечерние литературные бдения. Впоследствии в своих воспоминаниях от Ильфе Олеша писал о «Коллективе поэтов»:

«Отношение друг к другу было суровое. Мы все готовились в профессионалы. Мы серьезно работали. Это была школа».

У этой школы был свой стиль. Ей предшествовала другая «школа» – университетский литературный кружок «Зеленая лампа». Руководил «Лампой» профессор Лазурский, старый шекспировед. Кружок был основан как учреждение вполне академическое. В самом названии его есть оттенок классицизма. Но очень скоро старый шекспировед стал похож на возницу, у которого понесли кони.

«Коллективом поэтов» никто не руководил. Здесь не было авторитетов. Но был бог: Маяковский.

Олеша был верен своим страстям. Поклонение Маяковскому он пронес через всю жизнь. Одну из последних его статей, опубликованную уже посмертно, можно было бы назвать: «Объяснение в любви Маяковскому». Она очень олешинская – его рука, его впечатлительность, его способ помнить. Но в то же время эта статья Олеши отражала ту влюбленность в Маяковского, которую испытывало все наше поколение.

Двери «Коллектива поэтов» были широко открыты. Сюда приходили художники, артисты, ученые и просто странные люди. У одного из них через много лет Олеша взял имя для героев

«Зависти»: Бабичев.

Имя и некоторые черты. И для Андрея и для Ивана, Ибо в странном посетителе «Коллектива поэтов» дивным образом соединялись черты обоих братьев. Это был самый благовоспитанный сумасшедший на свете.

О безумии его вы догадывались только, когда посреди увлекательного разговора он вдруг сообщал вам, все теми же корректными интонациями учтивого человека, что он председатель коммуны земного шара, а кроме того, как бы по совместительству, Антихрист.

– А жена моя наоборот – Тсирхитна, – добавлял он с тихой улыбкой.

И он разводил руками несколько извиняющимся жестом, как бы говоря: вот ведь какая бывает порой игра природы…

Иногда его встречали на рынке, где он самым прозаическим образом торговал слесарным и столярным инструментом, ибо с безумием Ивана Бабичева он соединял практичность Андрея Бабичева.

Завидев кого-нибудь из нас, он мгновенно скрывался. Псих-псих, а все-таки он понимал, что базарная торговля несовместима с престижем Антихриста. Исчезал он с непостижимой быстротой и потом объяснял нам, что сделал это посредством присущего ему дара «внепространственного транспорта». Олешу восхищало чисто звуковое сочетание этих слов.

Нас предостерегали от Бабичева, говорили, что иногда он бывает буен. Но бедный безумец привязался к нам и всюду ходил с нами, как прирученный гепард. Один раз его неистовство все же вырвалось на волю.

Это случилось ночью. Большой зал «Коллектива поэтов» полон. Лампы не зажжены. Но светло от луны, прущей в широко открытые окна.

Бабичев играет на рояле. Он был хорошим музыкантом. Он импровизировал. Это было нечто нежное, чуть печальное, почти баюкающее. Внезапно – град безобразных бессмысленных звуков.

Бабичев вскочил, не переставая барабанить. И вдруг он поднял руки и заревел. Ни с чем невозможно сравнить этот рев. В нем была мука смерти, и разгул садизма, и бешенство убийцы. Он ревел, кривляясь и корчась в лунном сиянии. И это было так отвратительно и страшно, что все стали разбегаться. А я, Илья Ильф и Павел Мелисарато выбежали в соседнюю комнату, захлопнули дверь и придвинули к ней большой дубовый стол.

Тяжело дыша, мы переглянулись. Ильф чуть сощурился и сказал:

– Это из него заревел Антихрист.

Нам стало смешно и немножко стыдно. Мы отодвинули стол и вошли в зал.

Через него шла молодая белокурая женщина. Ее вел Олеша. Со стула за роялем бесформенной кучей свисал Бабичев. Женщина взяла его за руку. Он поднялся и покорно поплелся за ней. Это была его жена и антипод – Тсирхитна. Ее вызвал сюда Олеша, единственный из всех нас, кто не растерялся.

Он тоже испугался, как все мы. Но преодолеть страх ему помогла его доброта.

В своих воспоминаниях о Маяковском Олеша, между прочим, пишет: «Это был, как все выдающиеся личности, добрый человек».

Олеша и сам, несмотря на неожиданные порой выбрыки своего темперамента, был добр большой человеческой добротой. Это не бросалось в глаза из-за других более поражающих черт его личности – ума, таланта, проницательности.

Но именно доброта придавала особый отблеск его обаянию. В одном из своих выступлений я назвал Олешу «солнцем нашей молодости». Это не риторическая фигура. При том, что в нашем тогдашнем кругу наличествовали столь блистательные таланты, как Ильф, Катаев, Багрицкий, Шишова (о которой Олеша сказал: «Она талантливее всех нас») и некоторые другие («Таланты водятся стайками», – сказал Олеша), – никто не мог сравниться с Олешей во власти его над нами – власти его вкуса, его артистизма, его воображения, власти его доброты.

В двадцатых годах мы всей бражкой работали в газете «Гудок». Мы были доверху набиты железнодорожными терминами. Олеша даже в псевдонимы себе избрал название слесарного инструмента: Зубило. Он писал острые стихотворные фельетоны.

(Замечу, кстати, что и в дальнейшем Олеша, которого временами пытались изобразить оторванным от жизни мечтателем, всегда тематически оставался в русле современности. Почти все его произведения – о современной ему действительности. Даже «Три толстяка» в сказочной форме разрабатывают наиболее могучую социальную проблему нашего времени. В сущности, всю жизнь Олеша продолжал линию Зубилы в высоком плане.)

Вскоре имя Зубилы стало знаменитым. Он получал сотни писем. Появились даже самозванцы – Лже-Зубилы. Олеша – Зубило собирал на своих выступлениях огромные аудитории.

Он выступал в железнодорожных депо, в паровозных цехах. Ничего не может быть более волнующего, чем эти длинные гулкие пролеты, заполненные рабочими, которые взбирались на

станки, на вагонетки, на подъемные краны. Какой театральный зал может сравниться с такой аудиторией!

И все же это была не та слава, о которой мечтал Олеша.

Его роман «Зависть» и пьеса «Список благодеяний» породили целую критическую литературу. Олеша стал предметом и темой диссертаций, дипломных работ в Одессе, в Москве, даже в Колумбийском университете в США. Но и это все еще не была та слава, о которой он мечтал.

В его мечте о славе было что-то детское, наивное, театральное. Он жаждал шума вокруг себя, чтоб на него указывали пальцем на улице, как на Толстого: «Вот Олеша!»

Его обошли орденом. Он страдал.

Даже мелкие обиды самолюбию терзали его. Как-то я встретил Олешу в Союзе писателей. Он сидел в приемной. Из кабинета то и дело выходили и входили многочисленные руководители Союза. Олеша сказал мне с горестным изумлением:

– Они даже не здороваются со мной…

Между тем еще при жизни вокруг Олеши стала складываться атмосфера легендарности. Книги его расходились мгновенно. Его стремление к совершенству восхищало людей. Его изречения передавались из уст в уста. Люди искали с ним встречи, ибо общение с Олешей доставляло наслаждение. Многие прилеплялись к нему и становились его спутниками с постоянной орбитой вокруг него. Так действовал его талант, и в лучшие свои минуты Олеша был полон истинного величия.

Но он не замечал этого и завидовал славе Дюма-отца, которого он презирал.

Театр привлекал Олешу не только как жанр, не только резкостью конфликтов и свободой сценической речи (а Олеша был мастером диалога, поистине королем реплик), но и как наиболее осязаемая форма славы. Книги – бумага. Кино – полотно. А тут драматург заставляет живых людей действовать по его творческой воле.

Он быстро подружился с Мейерхольдом и увлек его в свою любимую Одессу. Они поселились у моря. Олеша g восторгом слушал, как Мейерхольд, оглядывая рыжую приморскую Большефонтанскую степь, говорил, что она похожа на бурые холмы Кадикса.

Они восхищались друг другом. Но у Олеши не было ложных богов. Неохотно, но все же он признался мне, что Мейерхольд дополнил «Список благодеяний» своими поправками, выбрасывал одни эпизоды, перемонтировал другие.

Легко ли было переживать это писателю, который каждое

слово вбивал, как устой моста!

Блеск олешинского диалога виден и в кино. Особенно в лучшем, на мой взгляд, сценарии Олеши «Болотные солдаты». Фильму этому повезло: он был хорошо поставлен Александром Мачеретом, а в главной роли великолепно выступил Менжинский. Не повезло этому фильму только у прокатчиков: они почему-то упорно скрывают его от народа, хотя «Болотные солдаты», несомненно, принадлежат к числу вечно цветущих произведений искусства.

Свои вещи Олеша писал очень медленно, с мучительным тщанием работая над постройкой каждой фразы. Поэтому для заработка он брался за исправление и усовершенствование чужих работ. Он писал диалоги для сценариев, делал инсценировки, переводы.

Иногда и эти ремесленные поделки под его рукой превращались в маленькие шедевры.

Наружность Юрия Олеши была приметна. Мне всегда казалось, что он похож на свои писания. Широкогрудый, невысокий, с большой головой гофманского Щелкунчика, с волевым подбородком, с насмешливой складкой рта, с острым и в то же время мечтательным взглядом двух маленьких синих светил, Олеша действительно имел в себе что-то сказочное. «Король гномов» – так назвал его как-то Борис Ливанов, подчеркивая в нем эту сказочность и царственность.

Есть неверные изображения Олеши. Однажды я встретился с попыткой сравнить его с героем романа «Зависть» Кавалеровым. Большое заблуждение! Если и есть в Кавалерове что-то от Олеши, то только в том смысле, в каком Флобер на вопрос, с кого он писал мадам Бовари, ответил: «Эмма – это я».

В воспоминаниях другого писателя Олеша изображен чудаковатым странником с котомкой и палкой, нечто среднее между Платоном Каратаевым и Григорием Сковородой. Нет ничего более далекого от истинного образа Юрия Олеши. Он был, что называется, светский человек. Даже когда он ходил в поношенном костюме, он сохранял свободу и грацию человека с превосходными манерами.

Совсем непригоден для изображения Юрия Олеши стиль туманных, загадочных неясностей, сквозь которые его образ брезжит мистическим мерцанием. Велик соблазн казаться глубоким, удаляясь в таинственную муть вычурного пустословия! Олеша был конкретен, вещественен, и метод неотчетливых, размытых, потусторонних намеков противоположен самому существу Олеши, наиболее земному из всех, кого я знал.

Конечно, изобразить Олешу трудно. Дело не только в физических его чертах. Как передать текучесть его существования, противоречивость и переменчивость его души, смену психологических бликов, непрерывность движения жизни? Как уловить его музыкальный ключ, весь этот контрапункт ума, изящного лукавства, завораживающего полета мысли?

Я корю себя за то, что не записывал все свои разговоры с Олешей. Ведь занятия литературой – это только частный случай деятельности его мозга, который творил всегда.

Олеше был чужд прием снижения. Он любил Ильфа, дружил с ним, превосходно о нем написал:

«Ильф… первоклассная величина в развитии нашей культуры».

Но иногда он говорил с неудовольствием:

– Почему у них столько неприятных подробностей, какие-то кишечки, бородавки, уродства.

Олеша и сам был остер на язык и, когда хотел быть беспощадным, обрушивал на собеседника шквал эпитетов такой убийственной меткости, что тот находил спасение только в бегстве.

Но этот свой сатирический дар он и близко не подпускал к своим произведениям. Он считал этот жанр низменным. Его влекло на философские высоты и в поэтическом и в интеллектуальном смысле. Это был поэт-мыслитель.

А бешеное свое остроумие и зоркую бытовую наблюдательность он оставлял для житейской болтовни, для 478

товарищеского трепа, для множества забавных устных сценок, импровизированных застольных скетчей.

Так однажды появился зародыш словаря Эллочки Людоедки, впоследствии с таким блеском развитый Ильфом и Петровым, и некоторые другие интересные находки, которые Олеша легко раздаривал окружающим не потому, что он был таким уж щедрым, а потому, что не считал их ценностью. Низменный жанр… А он любил высоты. Но не все могли дышать их разреженным воздухом.

А для Олеши состояние некоторой приподнятости было естественным.

Случилось как-то, что Ольга Густавовна Олеша легла в больницу. Когда Юрий Карлович пришел навестить ее, врач отвел его в сторону и предупредил:

– Вы не волнуйтесь, пожалуйста, но ваша жена заговаривается. Мозговые явления… Это пройдет!

– А что же она говорит?

– Она говорит, что медсестры похожи на ангелов Гирляндайо…

– Конечно! – вскричал Олеша. – Светлые одежды, скользящая, как бы летающая походка, милосердное выражение лица. Оля права!

Это был любимый рассказ Олеши – о двух способах видеть, о двух мироощущениях.

Когда он рассказывал его, в его голосе как бы звучали фанфары.

Приподнятостью, даже театральностью своего поведения Олеша напрашивался на сравнение его со спектаклем. Человек-спектакль. Он был отгорожен от мира несколькими занавесами. Иногда раздвигался только один, иногда еще один, редко – все.

Я читал в рукописи интересные воспоминания Э. Казакевича об Олеше. Высоко расценивая его, Казакевич в то же время с некоторым осуждением отзывается об излишне снисходительном отношении Юрия Карловича к иным людям, снисхождения не заслуживающим.

Я знаю, что Олеша и Казакевич любили друг друга. Когда-то, за несколько лет до войны, Олеша дал один из примеров своей удивительной проницательности. Он предсказал, что Казакевич когда-нибудь будет боевым офицером. Каким образом Олеша разгадал в тихом еврейском юноше будущего лихого разведчики, в этом тайна зрения Олеши.

Но слова Э. Казакевича о якобы «снисходительности» Олеши означают только то, что Казакевич не побывал за самым последним занавесом в душе Олеши. Вот там Казакевич не посетовал бы на его снисходительность. Там он навидался бы молний и наслушался бы громов!

Есть мнение, что Достоевского с его визионерством, с его мучительными резекциями души, с его обостренным вниманием, направленным на самого себя, Олеша предпочитал всем другим художникам.

Это заблуждение основано на неполном знании Олеши.

«Это писатель, против которого можно испытывать злобу».

«…драма Раскольникова не вызывает того *живого сострадания* (подчеркнуто Олешей. – *Л.* С), которое вызывает драма Позднышева».

«В «Идиоте» есть сцена, в которой Настасья Филипповна бросает деньги в огонь… ситуация очень неубедительна… Поступок, обратный тому, который все ожидают, – вот излюбленное обстоятельство Достоевского… и видно, что оно отражает черту характера самого Достоевского… Черта эта

антипатична… вызывает во мне раздражение».

Это написано Олешей в 1931 году.

И вот через два десятка лет ему предлагают сделать из «Идиота» пьесу.

Он записывает в своем дневнике с некоторым смущением:

«Я никогда не думал, что так вплотную буду заниматься Достоевским (пишу инсценировку «Идиота»). Все же не могу ответить себе о качестве моего отношения к нему – люблю, не люблю?»

Что же делать? Притворяться? Но ведь своеобразное коварство искусства состоит в том, что в нем невозможно солгать. Ложь сразу видна: она плавает на поверхности.

Олеша выходит из положения тем, что он *олешизирует* Достоевского. Он снимает с него черты нереальности, случайности, немотивированности. Он делает из романа драму самолюбия.

Помните отзыв Олеши о диалоге Достоевского?

«Какое обилие сослагательных наклонений в диалоге Достоевского! Бы-бы-бы! Это бьющийся в судорогах диалог!»

Я встретил Олешу неподалеку от театра после спектакля. На лице его были следы того радостного возбуждения, которое всегда давал ему театр, аплодисменты, весь этот шум нарядной публичности.

Он взял меня под руку и сказал, насмешливо кивнув в сторону театра, осторожно озираясь и голосом заговорщика, хотя поблизости никого не было, – просто из любви к игре:

– Они думают, что это реплики Достоевского. Это *мои* реплики!

– Юра, – сказал я, остановившись, – но по отношению к Толстому вы этого не позволили бы себе?

– Конечно, нет, – сказал он серьезно.

Длинная прогулка. Зимний вечер. Крупные снежинки. Мы стоим на углу улицы Горького и Пушкинской площади и никак не можем расстаться. Говорим, говорим…

Он предлагает зайти в ресторан ВТО и выпить. Я отказываюсь и объявляю, что я «сгусток воли».

Он хохочет и кричит, что я «стакан рефлексии».

В это время мимо нас проходит Х., высокий, в бобрах. Он демократически кивает нам:

– Привет!

И не останавливается.

Но по косому, быстрому и завистливому взгляду, который он бросает на нас, видно, что ему очень хочется остановиться,

поболтать с нами, пойти куда-нибудь посидеть вместе. Но он спешит важничать в президиуме какого-нибудь заседания, и, вообще, наше общество это не то…

– Вы не правы, – задумчиво говорит Олеша.

Он умолкает. Он на секунду погружается в ту «страну внимания и воображения», о которой он писал в «Вишневой косточке».

– Вы не правы, – повторяет он. – Скорее, он постеснялся, оробел, побоялся, что мы будем не рады ему. Он стал пуглив. У него есть основания для этого, вы знаете. Мне жаль его. В нем есть подспудная честность. Как пороховой погреб. Если она взорвется, он погибнет.

Я вспомнил этот разговор, когда Х. покончил с собой.

Откуда шла эта проницательность? (Вспомните предсказание о Казакевиче.)

В Олеше каким-то очень естественным образом соединились мудрость и детскость. Ему уже было около сорока лет, когда он написал:

«…до сих пор я ни разу не почувствовал себя взрослым».

И в другом месте, в «Заметках драматурга»:

«В людях не угасает детское».

Он сохранил это ощущение до конца. Михаил Пришвин когда-то писал о «детском богатстве народной души». Олеша был обладателем этого богатства. И от этой детскости возникало в нем как бы первовиденье жизни. И – как отдача этого – пронзительная свежесть образов.

Многие считали это художественной манерой Олеши. Конечно, тут есть и плод сознательного усилия. Но – как развитие того, что глубоко лежало в натуре Олеши. Его глаза действовали, как электронные микроскопы, они вскрывали внутреннюю структуру явления или человека. В самом банальном и в самом загадочном куске жизни он умел разглядеть его сокровенный смысл, ускользавший от других.

В Олеше было бесстрашие исследователя. В искусстве оно называется реализмом.

Ничего не может быть более неверного, чем утверждение, что в последний период своей жизни Олеша замолчал.

Каждый день он садился за стол и в течение нескольких часов своим ровным круглым отчетливым почерком писал то, что он называл: «Мой роман».

Он состоит из множества миниатюр. Обширное здание это осталось недостроенным. Но в нем видна цельность. Некоторые из миниатюр принадлежат к шедеврам нашей литературы,

например, «Маска», «Девочка-акробат», «Костел».

В этом произведении (общее название его: «Ни дня без строчки») с особенной силой, как мне кажется, сказались свойства художественного зрения Юрия Олеши. Он как бы остановил движение времени, как останавливают часы, чтобы рассмотреть механизм в подробностях. Это не легко. Это не каждому дано.

Но Олеша силой своего таланта остановил мир, расчленил его и принялся рассматривать его в деталях, как часовщик. Он превратил макромир в микромир.

И в этих микрочастицах оказалось существо большого мира.

Не поэтизирую ли я Юрия Олешу?

Мне могут сказать, что я не в состоянии отвлечься от своих личных отношений с Олешей. Но я знаю, что давние связи, идущие в глубь годов, позволяют судить о старом друге более глубоко, более объемно, более справедливо.

Я ведь вижу отчетливо и его слабости, моменты затемнения.

Не раз биографы писателей останавливались перед вопросом: публиковать ли частную переписку писателей?

Пушкин был против этого. Мопассан тоже.

С их мнением не посчитались. Скрыть частную жизнь писателя никогда не удавалось. Огромный интерес общества к жизни писателя пробивал все защитные преграды.

Откуда этот интерес? Одно ли обывательское любопытство?

Нет. Он идет от отождествления работы писателя с назначением учителя жизни. Как бы писатель от этого ни отгораживался, сколько бы он ни заточал себя в башни из слоновой кости, как только он взял перо в руки, он тем самым принял на себя наставническую миссию. «Шепот, робкое дыханье» – это тоже программа жизни. Каждая книга неизбежно проповедь, как каждый портрет неизбежно автопортрет.

Многое в Юрии Олеше было, так сказать, противоположно быту. И когда одним он казался вдохновенным и творчески увлекательным, в этот же самый момент другим он мог показаться неудобным в общении, колючим, нарушающим привычные нормы существования, беспокоящим, – так же как причиняет беспокойство поэзия, которой тоже ведь невозможно все время жить, как нельзя все время дышать чистым кислородом.

Бабель был человек трезвой жизни. Олеша любил опьянение. Иногда мне казалось, что он намеренно глушит в себе мысль, чтоб отдохнуть от ее сложностей.

Он сказал как-то, подтрунивая над собой:

– Толстой бежал в опрощение, я – в упрощение.

Его удаление в антибыт выражалось не только в этом. Он не придавал никакого значения деньгам. Он легко брал их и легко

раздавал. Он до того боялся впасть в бытовое описание, что никогда не мог изобразить любовь. Один раз он всерьез принялся за это. Рассказ так и назывался: «Любовь». Дескать, смотрите, это рассказ о любви, не ошибитесь! Но название не притянуло искусства.

Пламенная душа Олеши, полная любви, инстинктивно остерегалась изображать ее всуе.

Я присутствовал при том, как Олеша разговаривал с начинающим писателем. Это было поучительное зрелище. На такие беседы следовало приводить студентов литературного института, как, скажем, студентов медицинского института приводят на операции выдающегося хирурга.

Олеша взрезал каждую фразу и препарировал каждое слово.

– Вот вы описываете осень так, – говорил он. – «Деревья погрузились в золотой сон о весне». Хорошо это сказано или плохо? Сейчас разберемся.

Тот начинающий парень уже еле дышал от волнения.

– Вам самому этот образ, вероятно, очень нравится? – продолжал Олеша своим звучным голосом, и слова вкусно скатывались с его языка, отточенные и веские, как галька одесского побережья. – Что же вам нравится в этом образе? «Золотой сон осени»? «Сон» – то есть не смерть, а спячка?

Парень облегченно вздохнул и благодарно посмотрел на Олешу. Он плохо знал его.

– Но, – продолжал Юрий Карлович, уставившись на юношу и как бы подвергая его гипнотизирующему действию своих маленьких, глубоко утопленных, синих, неумолимых глаз, – разве вы не чувствуете, что это образ ложный, что в нем есть слащавая красивость, что он жеманный, вычурный и в общем пошловатый!

Он всегда внушал молодым ребятам, что сила слова не только в его образной наглядности, а сверх того и главным образом в значительности мысли и в глубине переживания. Конечно, можно говорить о вкусе слова Юрия Олеши, как можно говорить о вкусе звука Святослава Рихтера. И все же главное у того и у другого – никогда не смиряющаяся буря духа. Это и сообщает прозе Олеши ее возбуждающую силу.

Его оценки, которые он выстреливал своим решительным, безапелляционным тоном, были поучительны не только для начинающих. Для меня не было большей радости, чем получить от него похвалу. Впрочем, иногда они окрашивались личным отношением, хотя большей частью Олеша достигал в них высшего беспристрастия. Он и к своим работам относился с большой строгостью. Такой неистовый в своих устных эскападах, в писаниях своих он был скромен до самоуничижения.

Случалось, проходили годы, он ничего не публиковал. Но это не были годы молчания. Это были годы поисков, непрерывной, я бы даже сказал – неистовой работы, бесконечных проб, вариантов.

Даже в ранних вещах стиль Олеши был свободен от влияния тех поветрий, которые проносились временами в нашей литературе. Пространные диалоги Хемингуэя, солдатский пафос Киплинга, нервная скороговорка Ремарка, инфснтилизм Сарояна, уличный жаргон Селленджера – все, что порой отлагалось на слоге отечественных эпигонов, ни в малейшей степени не задело Олешу. Да и не могло задеть. Стиль его – естественное выражение его сокровенной сути.

В последние годы он (как и Бабель) стал писать проще. Исчезли эффектные выражения, вроде «гремящая буря века» и т. п.

Он высоко ценил прозу Хлебникова. И призывал – в своем маленьком задиристом предисловии к «Звериицу» Хлебникова – учиться у него. Но тут же прибавлял:

«Если вообще нужно учиться у кого-нибудь. Главное – талант и здоровье».

Он воображал, что здоровье его так же несокрушимо, как его талант, что сердце его так же молодо и мощно, как его мозг. Он вел атаки на свое сердце. В конце концов оно не выдержало.

Он одновременно хотел быть и нищим и миллионером. Нищим – чтобы продемонстрировать свое презрение к материальным благам (главное – в духовном!). Миллионером – потому что он любил пышную, украшенную жизнь. Незадолго до смерти он воскликнул звучным, полным жизни голосом:

– Снимите с лампы газету. Это неэлегантно!

– Я ведь не такой, как другие. Я ведь устроен иначе, – говорил Олеша полушутя.

Но под этой шуткой жила вера в свое бессмертие. Физическое!

Это привилегия и признак молодости – не верить в свою смерть. Олеше тогда шел седьмой десяток.

Однажды он вернулся с прогулки в плохом состоянии. Он жаловался на боль в сердце.

Он сказал:

– Я почувствовал, как будто кто-то вошел в меня.

Какой страшный в своей точности образ!

Он лежал спокойный, сильный, красивый. На лице его была важность мысли. Да, оно пришло к нему, это лучшее из свойственных ему выражений. Казалось, он жив. Спит? Нет! Размышляет. Состояние, наиболее присущее ему.

1964